



**МАРК**

**БЛОК**

*АПОЛОГИЯ ИСТОРИИ*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Марк Блок

**Апология истории**

«Издательство АСТ»

1941

УДК 82(1-87)  
ББК 84(4Фра)

### **Блок М.**

Апология истории / М. Блок — «Издательство АСТ»,  
1941 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-120622-2

Марк Блок (1886–1944) – французский историк, автор трудов по средневековой Франции и общим проблемам методологии истории, основатель собственной исторической школы. Участник французского Сопротивления, расстрелян гестапо в 1944 году. Эта книга родилась из вопроса, заданного ребенком: «Папа, объясни мне, зачем нужна история?» И действительно, зачем? Для чего эти мертвые знания о том, что было раньше? Какое нам до этого дело? Книга Марка Блока «Апология истории» – ответ на эти вопросы и обоснование права историка заниматься своим ремеслом, чтобы знание прошлого помогало человеку «жить лучше».

УДК 82(1-87)

ББК 84(4Фра)

ISBN 978-5-17-120622-2

© Блок М., 1941

© Издательство АСТ, 1941

# Содержание

Люсьену Февру	6
Введение	7
Глава первая	14
1. Выбор историка	14
2. История и люди	16
3. Историческое время	18
4. Идол истоков	19
5. Границы современного и несовременного	22
6. Понять настоящее с помощью прошлого	24
7. Понять прошлое с помощью настоящего	26
Глава вторая	28
1. Главные черты исторического наблюдения	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# **Марк Блок**

## **Апология истории**

*Памяти моей матери-друга*

## Люсьену Февру Вместо посвящения

Если эта книга когда-нибудь выйдет в свет, если она из простого противоядия, в котором я среди ужасных страданий и тревог, личных и общественных, пытаюсь найти немного душевного спокойствия, превратится когда-нибудь в настоящую книгу, книгу для читателей, – на ее титульном листе, мой дорогой друг, будет стоять другое, не Ваше имя. Вы поймете, что это имя будет на своем месте – единственное упоминание, которое может позволить себе нежность, настолько глубокая и священная, что ее словами не высказать. Но могу ли я примириться с тем, чтобы Ваше имя появлялось здесь только случайно, в каких-то ссылках? Долгое время мы вместе боролись за то, чтобы история была более широкой и гуманной. Теперь, когда я это пишу, общее наше дело подвергается многим опасностям. Не по нашей вине. Мы – временно побежденные несправедливой судьбой. Все же, я уверен, настанет день, когда наше сотрудничество сможет полностью возобновиться, как в прошлом, открыто и, как в прошлом, свободно. А пока я со своей стороны буду продолжать его на этих страницах, где все полно Вами. Я постараюсь сохранить присущий ему строй – в глубине согласие, оживляемое на поверхности поучительной игрой наших дружеских споров. Среди идей, которые я намерен отстаивать, не одна идет прямо от Вас. О многих других я и сам, по совести, не знаю, Ваши они, или мои, или же принадлежат нам обоим. Надеюсь, что многое Вы одобрите. Порой, возможно, будете читать с удовольствием. И все это свяжет нас еще крепче.

*Фужер (Деп. Крез). 10 мая 1941.*

## Введение

«Папа, объясни мне, зачем нужна история». Так однажды спросил у отца-историка мальчик, весьма мне близкий. Я был бы рад сказать, что эта книга – мой ответ. По-моему, нет лучшей похвалы для писателя, чем признание, что он умеет говорить одинаково с учеными и со школьниками. Однако такая высокая простота – привилегия немногих избранных. И все же этот вопрос ребенка, чью любознательность я, возможно, не сумел полностью удовлетворить, я охотно поставлю здесь вместо эпиграфа. Кое-кто наверняка сочтет такую формулировку наивной. Мне же, напротив, она кажется совершенно уместной<sup>1\*2</sup>. Проблема, которая в ней поставлена с озадачивающей прямоотой детского возраста, это ни мало ни много – проблема целесообразности, оправданности исторической науки.

Итак, от историка требуют отчета. Он пойдет на это не без внутреннего трепета: какой ремесленник, состарившийся за своим ремеслом, не спрашивал себя с замиранием сердца, разумно ли он употребил свою жизнь? Однако речь идет о чем-то куда более важном, чем мелкие сомнения цеховой морали. Эта проблема затрагивает всю нашу западную цивилизацию.

Ибо, в отличие от других, наша цивилизация всегда многого ждала от своей памяти. Этому способствовало все – и наследие христианское, и наследие античное. Греки и латиняне, наши первые учителя, были народами-историографами. Христианство – религия историков. Другие религиозные системы основывали свои верования и ритуалы на мифологии, почти неподвластной человеческому времени. У христиан священными книгами являются книги исторические, а их литургии отмечают – наряду с эпизодами земной жизни бога – события из истории церкви и святых. Христианство исторично еще и в другом смысле, быть может, более глубоко: судьба человечества – от грехопадения до Страшного суда – предстает в сознании христианства как некое долгое странствие, в котором судьба каждого человека, каждое индивидуальное «паломничество» является в свою очередь отражением; центральная ось всякого христианского размышления, великая драма греха и искупления, разворачивается во времени, т. е. в истории. Наше искусство, наши литературные памятники полны отзвуков прошлого; с уст наших деятелей не сходят поучительные примеры из истории, действительные или мнимые. Наверное, здесь следовало бы выделить различные оттенки в групповой психологии. Курно давно отметил: французы, всегда склонные воссоздавать картину мира по схемам разума, в большинстве предаются своим коллективным воспоминаниям гораздо менее интенсивно, чем, например, немцы<sup>3</sup>. Несомненно также, что цивилизации меняют свой облик. В принципе не исключено, что когда-нибудь наша цивилизация отвернется от истории. Историкам стоило бы

---

<sup>1</sup> Звездочкой отмечены места, комментарии к которым написаны самим М. Блоком.

<sup>2</sup> В этом отношении с самого начала, и отнюдь к этому не стремясь, я противоречу «Введению в изучение истории» Ланглуа и Сеньобоса. Первые фразы начального абзаца были уже давно написаны, когда на глаза мне попался в «Предуведомлении» этой книги (стр. XII) список «праздных вопросов». И вдруг я там вижу буквально такой же вопрос: «Зачем нужна история?» Несомненно, с этой проблемой дело обстоит так же, как почти со всеми проблемами, касающимися причин наших поступков и наших мыслей: люди, по натуре своей к ним безразличные – или сознательно решившие стать таковыми, – всегда с трудом понимают, что другие находят в этих проблемах предмет для волнующих размышлений. Но раз уж подвернулся случай, я думаю, есть смысл тут же определить мою позицию по отношению к этой заслуженно известной книге, которую моя книга, построенная по другому плану и в отдельных своих частях гораздо менее развернутая, никак не претендует заменить. Я был учеником этих двух авторов, в особенности Сеньобоса. Оба они выказывали мне расположение. Мое раннее образование многим обязано их лекциям и произведениям. Но оба они учили нас не только тому, что первый долг историка – быть искренним; они также не скрывали, что прогресс в нашей науке достигается неизбежным противоречием между поколениями ученых. Итак, я останусь верен их урокам, свободно критикуя их там, где сочту полезным; надеюсь, когда-нибудь мои ученики в свою очередь будут так же критиковать меня.

<sup>3</sup> Француз – антиисторичен: Курно. Воспоминания, стр. 43, по поводу отсутствия каких бы то ни было роялистских чувств к концу Империи: «...Для объяснения этого странного факта, надо, пола-гаю, принять во внимание малую популярность нашей истории и слабое развитие у нас в низших классах – по причинам, анализировать которые было бы слишком долго, – чувства исторической традиции».

над этим подумать. Дурно истолкованная история, если не остеречься, может в конце концов возбудить недоверие и к истории, лучше понятой. Но если нам суждено до этого дойти, это совершится ценою глубокого разрыва с нашими самыми устойчивыми интеллектуальными традициями.

В настоящее время мы в этом смысле находимся пока лишь на стадии «экзамена совести». Всякий раз, когда наши сложившиеся общества, переживая непрерывный кризис роста, начинают сомневаться в себе, они спрашивают себя, правы ли они были, вопрошая прошлое, и правильно ли они его вопрошали. Почитайте то, что писалось перед войной, то, что, возможно, пишется еще и теперь: среди смутных тревог настоящего вы непременно услышите голос этой тревоги, примешивающийся к остальным голосам. В разгаре драмы я совершенно случайно услышал его эхо. Это было в июне 1940 г., в день – я это хорошо помню – вступления немцев в Париж. В нормандском саду, где наш штаб, лишенный войск, томился в праздности, мы перебирали причины катастрофы: «Надо ли думать, что история нас обманула?» – пробормотал кто-то. Так тревога взрослого, звуча, правда, более горько, смыкалась с простым любопытством подростка. Надо ответить и тому, и другому.

Впрочем, надо еще установить, что означает слово «нужна». Но прежде, чем перейти к анализу, я должен попросить извинения у читателей. Условия моей нынешней жизни, невозможность пользоваться ни одной из больших библиотек, пропажа собственных книг вынуждают меня во многом полагаться на мои заметки и знания. Дополнительное чтение, всякие уточнения, требуемые правилами моей профессии, практику которой я намерен описать, слишком часто для меня недоступны. Удастся ли мне когда-нибудь восполнить эти пробелы? Боюсь, что полностью не удастся никогда. Я могу лишь просить снисхождения. Я сказал бы, что прошу «учесть обстоятельства», если бы это не означало, что я с излишней самоуверенностью возлагаю на себя вину за судьбу.

\* \* \*

В самом деле, если даже считать, что история ни на что иное не пригодна, следовало бы все же сказать в ее защиту, что она увлекательна. Или, точнее, – ибо всякий ищет себе развлечения, где ему вздумается, – что она, несомненно, кажется увлекательной большому числу людей. Для меня лично, насколько я себя помню, она всегда была чрезвычайно увлекательна. Как для всех историков, я полагаю. Иначе чего ради они выбрали бы эту профессию? Для всякого человека, если он не круглый дурак, все науки интересны. Но каждый ученый находит только одну науку, заниматься которой ему приятней всего. Обнаружить ее, дабы посвятить себя ей, это и есть то, что называют призванием.

Неоспоримая прелесть истории достойна сама по себе привлечь наше внимание.

Роль этой привлекательности – вначале как зародыша, затем как стимула – была и остается основной. Жажде знаний предшествует простое наслаждение; научному труду с полным сознанием своих целей – ведущий к нему инстинкт; эволюция нашего интеллекта изобилует переходами такого рода. Даже в физике первые шаги во многом были обусловлены старинными «кабинетами редкостей». Мы также знаем, что маленькие радости коллекционирования древностей оказались занятием, которое постепенно перешло в нечто гораздо более серьезное. Таково происхождение археологии и, ближе к нашему времени, фольклористики. Читатели Александра Дюма – это, быть может, будущие историки, которым не хватает только тренировки, приучающей получать удовольствие более чистое и, на мой взгляд, более острое: удовольствие от подлинности.

С другой стороны, это очарование отнюдь не меркнет, когда принимаешься за методическое исследование со всеми необходимыми строгостями; тогда, напротив, – все настоящие историки могут это подтвердить – наслаждение становится еще более живым и полным; здесь

нет ровным счетом ничего, что не заслуживало бы напряженнейшей умственной работы. Истории, однако, присущи ее собственные эстетические радости, не похожие на радости никакой иной науки. Зрелище человеческой деятельности, составляющей ее особый предмет, более всякого другого способно покорять человеческое воображение. Особенно тогда, когда удаленность во времени и пространстве окрашивает эту деятельность в необычные тона. Сам великий Лейбниц признался в этом: когда от абстрактных спекуляций в области математики или теодицеи он переходил к расшифровке старинных грамот или старинных хроник имперской Германии, он испытывал, совсем как мы, это «наслаждение от познания удивительных вещей». Не будем же отнимать у нашей науки ее долю поэзии. Остережемся в особенности, что я наблюдал кое у кого, стыдиться этого. Глупо думать, что если история оказывает такое мощное воздействие на наши чувства, она поэтому менее способна удовлетворять наш ум.

И все же если бы история, к которой нас влечет эта ощущаемая почти всеми прелесть, оправдывалась только ею, если бы она была в целом лишь приятным времяпрепровождением, вроде бриджа или рыбной ловли, стоила ли бы она того труда, который мы затрачиваем, чтобы ее писать? Я имею в виду писать честно, правдиво, раскрывая, насколько возможно, неявные мотивы, – следовательно, с затратой немалых усилий. Игры, писал Андре Жид, ныне для нас уже непозволительны, кроме, добавил он, игры ума. Это было сказано в 1938 г. В 1942 г., когда пишу я, каким дополнительным тягостным смыслом наполняется эта фраза! Что говорить, в мире, который недавно проник в строение атома и только начинает прощупывать тайну звездных пространств, в нашем бедном мире, который по праву гордится своей наукой, но не в состоянии сделать себя хоть немножко счастливым, бесконечные детали исторической эрудиции, способные поглотить целую жизнь, следовало бы осудить как нелепое, почти преступное расточительство сил, если бы в результате мы всего лишь приукрашивали крохами истины одно из наших развлечений. Либо надо рекомендовать не заниматься историей людям, чьи умственные способности могут быть с большей пользой применены в другой области, либо пусть история докажет свою научную состоятельность.

Но тут возникает новый вопрос: что же, собственно, является оправданием умственных усилий?

Надеюсь, в наши дни никто не решится утверждать вместе с самыми строгими позитивистами, что ценность исследования – в любом предмете и ради любого предмета – измеряется тем, насколько оно может быть практически использовано. Опыт научил нас, что тут нельзя решать заранее – самые абстрактные на первый взгляд умственные спекуляции могут в один прекрасный день оказаться удивительно полезными для практики. Но, кроме того, отказывать человечеству в праве искать, без всякой заботы о благоденствии, утоления интеллектуального голода – означало бы нелепым образом изувечить человеческий дух. Пусть *homo faber*<sup>4</sup> или *politicus*<sup>5</sup> всегда будут безразличны к истории, в ее защиту достаточно сказать, что она признается необходимой для полного развития *homo sapiens*<sup>6</sup>. Но даже при таком ограничении вопрос еще полностью не разрешен.

Ибо наш ум по природе своей гораздо меньше стремится узнать, чем понять. Отсюда следует, что подлинными науками он признает лишь те, которым удастся установить между явлениями логические связи. Все прочее, по выражению Мальбранша, – это только «всезнайство» («полиматаия»). Но всезнайство может, самое большее, быть родом развлечения или же манией; в наши дни, как и во времена Мальбранша, его не признают достойным для ума занятием. А значит, история, независимо от ее практической полезности, вправе тогда требовать себе место среди наук, достойных умственного усилия, – лишь в той мере, в какой она сулит

<sup>4</sup> человек-мастер (лат.).

<sup>5</sup> человек политический (лат.).

<sup>6</sup> человек разумный (лат.).

нам вместо простого перечисления, бессвязного и почти безграничного, явлений и событий, дать их некую разумную классификацию и сделать более понятными.

Нельзя, однако, отрицать, что любая наука всегда будет казаться нам неполноценной, если она рано или поздно не поможет нам жить лучше. Как же не испытывать этого чувства с особой силой в отношении истории, чье назначение, казалось бы, тем паче состоит в том, чтобы работать на пользу человеку, раз ее предмет – это человек и его действия? В самом деле, извечная склонность, подобная инстинкту, заставляет нас требовать от истории, чтобы она служила руководством для наших действий, а потом мы негодуем, подобно тому солдату побежденной армии, чьи слова я привел выше, если история, как нам кажется, обнаруживает свою несостоятельность, не может дать нам указаний. Проблему пользы истории – в узком, прагматическом смысле слова «полезный» – не надо смешивать с проблемой ее чисто интеллектуальной оправданности. Ведь проблема пользы может тут возникнуть только во вторую очередь: чтобы поступать разумно, разве не надо сперва понять? И все же, рискуя дать лишь полуответ на самые настойчивые возражения здравого смысла, проблему пользы нельзя просто обойти.

На эти вопросы, правда, некоторые из наших наставников или тех, кто претендует на эту роль, уже ответили. Только чтобы развенчать наши надежды. Более снисходительные сказали: история бесполезна и безосновательна. Другие, чья строгость не удовлетворяется полумерами, решили: история вредна. «Самый опасный продукт, вырабатываемый химией интеллекта», – выразился один из них, причем человек известный. Таким приговорам присуща сомнительная привлекательность: они заранее оправдывают невежество. К счастью, у нас еще сохранилась частица любознательности, и апелляция, пожалуй, еще возможна.

Но если нам предстоит пересмотр дела, надо для этого располагать более определенными данными. Ибо есть одно обстоятельство, о котором, видимо, не подумали заурядные хулители истории. В их суждениях немало красноречия и ума, но они по большей части не удосужились точно узнать, о чем рассуждают. Картину наших научных занятий они рисуют не с натуры. От нее отдает скорее риторикой Академии, чем атмосферой рабочего кабинета. А главное – она устарела. В результате весь этот ораторский пыл расходуется на то, чтобы заклинать призрак. Мы в этой книге постараемся поступать иначе. Методы, основательность которых мы попробуем взвесить, будут теми же, что реально применяются в исследовании, вплоть до мелких и тонких технических деталей. Наши проблемы будут теми же самыми проблемами, которые ежедневно ставит перед историком его предмет. Короче, мы желаем прежде всего рассказать, как и почему историк занимается своим делом. А уж потом пусть читатель сам решает, стоит ли им заниматься.

Однако будем осторожны. Задача наша, даже при таком понимании и ограничении, лишь с виду может показаться простой. Возможно, она была бы проста, имей мы дело с одним из прикладных искусств, о которых нетрудно дать полное представление, перечислив один за другим все проверенные временем приемы. Но история – не ремесло часовщика или краснодеревщика. Она – стремление к лучшему пониманию, следовательно – нечто, пребывающее в движении. Ограничиться описанием нынешнего состояния науки – это в какой-то мере подвести ее. Важнее рассказать о том, какой она надеется стать в дальнейшем своем развитии. Но подобная задача вынуждает того, кто хочет анализировать эту науку, в значительной мере основываться на личном выборе. Ведь всякую науку на каждом ее этапе пронизывают разные тенденции, которые невозможно отделить одну от другой без некоего предвосхищения будущего. Нас эта необходимость не отпугивает. В области духовной жизни, не менее чем в любой другой, страх перед ответственностью ни к чему хорошему не приводит. Но надо быть честным и предупредить читателя.

Кроме того, неминуемо возникающие трудности при изучении методов зависят от того, какой точки на кривой своего развития, всегда несколько ломаной, достигла в данный момент

рассматриваемая дисциплина. Лет пятьдесят назад, когда Ньютон еще царствовал безраздельно, было, я думаю, несравненно легче, чем сегодня, изложить всю механику с точностью технического чертежа. А история еще находится в фазе, куда более благоприятной для уверенных суждений.

Ибо история – не только наука, находящаяся в развитии. Это наука, переживающая детство, – как все науки, чьим предметом является человеческий дух, этот запоздалый гость в области рационального познания. Или, лучше сказать: состарившаяся, прозябавшая в эмбриональной форме повествования, долго перегруженная вымыслами, еще дольше прикованная к событиям, наиболее непосредственно доступным, как серьезное аналитическое занятие история еще совсем молода. Она силится теперь проникнуть глубже лежащих на поверхности фактов; отдав в прошлом дань соблазнам легенды или риторики, она хочет отказаться от отравы, ныне особенно опасной, от рутины учености и от эмпиризма в обличье здравого смысла. В некоторых важных проблемах своего метода она пока еще только начинает что-то нащупывать. Вот почему Фюстель де Куланж и до него Бейль, вероятно, были не совсем неправы, называя историю «самой трудной из всех наук».

Но не заблуждение ли это? Как ни туманен во многих отношениях наш путь, мы в настоящее время, думается мне, находимся в лучшем положении, чем наши прямые предшественники, и видим несколько ясней.

Поколения последних десятилетий XIX и первых лет XX в. жили, как бы замороженные очень негибкой, поистине контовской схемой мира естественных наук. Распространяя эту чудодейственную схему на всю совокупность духовных богатств, они полагали, что настоящая наука должна приводить путем неопровержимых доказательств к непреложным истинам, сформулированным в виде универсальных законов. То было убеждение почти всеобщее. Но, примененное к исследованиям историческим, оно породило – в зависимости от характера ученых – две противоположные тенденции.

Одни действительно считали возможной науку об эволюции человечества, которая согласовалась бы с этим, так сказать, «всеенаучным» идеалом, и не щадя сил трудились над ее созданием. Причем они сознательно шли на то, чтобы оставить за пределами этой науки о людях многие реальные факты весьма человеческого свойства, которые, однако, казались им абсолютно не поддающимися рациональному познанию. Этот осадок они презрительно именовали «происшествием», сюда же относили они большую часть жизни индивидуума – интимно личную. Такова была, в общем, позиция социологической школы, основанной Дюркгеймом. (По крайней мере, если не принимать во внимание смягчения, постепенно привнесенные в первоначальную жесткость принципов людьми слишком разумными, чтобы – пусть невольно – не поддаться давлению реальности.) Наша наука многим ей обязана. Она научила нас анализировать более глубоко, ограничивать проблемы более строго, я бы даже сказал, мыслить не так упрощенно. О ней мы здесь будем говорить лишь с бесконечной благодарностью и уважением. И если сегодня она уже кажется превзойденной, то такова рано или поздно расплата для всех умственных течений за их плодотворность.

Между тем другие исследователи заняли тогда же совершенно иную позицию. Видя, что историю не втиснуть в рамки физических закономерностей, и вдобавок испытывая смятение (в котором повинно было их первоначальное образование) перед трудностями, сомнениями, необходимостью снова и снова возвращаться к критике источников, они извлекли из всех этих фактов урок трезвого смирения. Дисциплина, которой они посвятили свой талант, казалась им в конечном счете неспособной к вполне надежным выводам в настоящем и не сулящей больших перспектив в будущем. Они видели в ней не столько подлинно научное знание, сколько некую эстетическую игру или, на худой конец, гигиеническое упражнение, полезное для здоровья духа. Их иногда называли «историками, рассказывающими историю», – прозвище для нашей корпорации оскорбительное, ибо в нем суть истории определяется как бы отрицанием

ее возможностей. Что касается меня, то я бы нашел более выразительный символ их общности на определенном этапе истории французской мысли.

Любезный и уклончивый Сильвестр Боннар – если придерживаться тех дат, к которым книга о нем приурочивает его деятельность, – это анахронизм, такой же, как святые античной поры, которых средневековые писатели наивно окрашивали в цвета собственного времени. Сильвестра Боннара (если на миг поверить, что эта вымышленная фигура существовала во плоти), «подлинного» Сильвестра Боннара, родившегося при Первой империи, поколение великих романтических историков могло бы считать своим: он разделил бы их трогательный и плодотворный энтузиазм, их несколько простодушную веру в будущее «философии» истории. Но уйдем от эпохи, к которой мы его отнесли, и вернем его тому времени, когда была сочинена его вымышленная биография. Там он будет достоин занять место патрона, цехового святого целой группы историков, бывших примерно духовными современниками его биографа: добросовестных тружеников, но с несколько коротким дыханием. Как у детей, чьи отцы чрезмерно предавались наслаждениям, на их костях как будто сказалась усталость от пышных исторических оргий романтизма; они были склонны принижать себя перед собратьями-учеными и в целом скорее призывали к осторожности, чем к дерзкому порыву. Думаю, не будет слишком злым считать, что их девизом могут служить поразительные слова, которые однажды сорвались с уст человека, весьма, впрочем, острого ума, каким был дорогой мой учитель Шарль Сеньобос: «Задавать себе вопросы очень полезно, *но отвечать на них очень опасно*». Что и говорить, это не речи хвастуна. Но если бы физики не были так дерзки в своей профессии, много ли достигла бы физика?

Словом, умственная атмосфера нашего времени уже не та. Кинетическая теория газов, эйнштейновская механика, квантовая теория коренным образом изменили то представление о науке, которое еще вчера было всеобщим. Представление это не стало менее высоким – оно сделалось более гибким. На место определенного последние открытия во многих случаях выдвинули бесконечно возможное; на место точно измеримого – понятие вечной относительности меры. Их воздействие сказалось даже на тех людях – я, увы, должен к ним причислить и себя, – кому недостаток способностей или образования позволяет наблюдать лишь издали и как бы опосредствованно за этой великой метаморфозой.

Итак, мы ныне лучше подготовлены к мысли, что некая область познания, где не имеют силы Евклидовы доказательства или неизменные законы повторяемости, может тем не менее претендовать на звание научной. Мы теперь гораздо легче допускаем, что определенность и универсальность – это вопрос степени. Мы уже не чувствуем своим долгом навязывать всем объектам познания единообразную интеллектуальную модель, заимствованную из наук о природе, ибо даже там этот шаблон уже не может быть применен вполне. Мы еще не слишком хорошо знаем, чем станут в будущем науки о человеке. Но мы знаем: для того, чтобы существовать – продолжая, конечно, подчиняться основным законам разума, – им не придется отказываться от своей оригинальности или ее стыдиться.

Я бы хотел, чтобы среди историков-профессионалов именно молодые приучились размышлять над этими сомнениями, этими постоянными «покаяниями» нашего ремесла. Это будет для них самым верным путем для того, чтобы, сделав сознательный выбор, подготовить себя к разумному направлению своих усилий. Особенно я желал бы, чтобы все больше молодых брались за историю более широкую и углубленную, судьбу которой мы – а нас с каждым днем все больше – теперь намечаем. Если книга моя этому поможет, я буду думать, что она не вовсе бесполезна. В ней, должен признаться, есть некая доля программы.

Но я пишу не только – и даже не главным образом – для внутреннего цехового употребления. Я не думаю, что следовало бы скрывать сомнения нашей науки от людей просто любознательных. Эти сомнения – наше оправдание. Более того – они придают нашей науке свежесть молодости. Мы не только имеем право требовать по отношению к истории снисходительности,

как ко всему начинающемуся. Незавершенное, которое постоянно стремится перерасти себя, обладает для всякого живого ума очарованием не меньшим, чем нечто, успешнейшим образом законченное. Добрый землепашец, сказал Пеги, любит пахать и сеять не меньше, чем собирать жатву.

\* \* \*

Это краткое введение мне хотелось бы заключить личным признанием. Любая наука, взятая изолированно, представляет лишь некий фрагмент всеобщего движения к знанию. Выше я уже имел повод привести этому пример: чтобы правильно понять и оценить методы исследования данной дисциплины – пусть самые специальные с виду, – необходимо уметь их связать вполне убедительно и ясно со всей совокупностью тенденций, которые одновременно проявляются в других группах наук. Изучение методов как таковых составляет особую дисциплину, ее специалисты именуют себя философами. На это звание я претендовать не вправе. От подобного пробела в моем первоначальном образовании данный очерк, несомненно, много потеряет как в точности языка, так и в широте кругозора. Могу его рекомендовать лишь таким, каков он есть, т. е. как записи ремесленника, который всегда любил размышлять над своим ежедневным заданием, как блокнот подмастерья, который долго орудовал аршином и отвесом, но из-за этого не возомнил себя математиком.

# Глава первая

## История, люди и время

### 1. Выбор историка

Слово «история» очень старо, настолько старо, что порой надоедало. Случалось – правда, редко, – что его даже хотели вычеркнуть из словаря. Социологи дюркгеймовской школы отводят ему определенное место – только подальше, в жалком уголке наук о человеке; что-то вроде подвала, куда социологи, резервируя за своей наукой все, поддающееся, по их мнению, рациональному анализу, сбрасывают факты человеческой жизни, которые им кажутся наиболее поверхностными и произвольными.

Мы здесь, напротив, сохраним за «историей» самое широкое ее значение. Слово это как таковое не налагает запрета ни на какой путь исследования – с обращением преимущественно к человеку или к обществу, к описанию преходящих кризисов или к наблюдению за явлениями более длительными. Само по себе оно не заключает никакого кредо – согласно своей первоначальной этимологии, оно обязывает всего лишь к «исследованию». Конечно, с тех пор как оно, тому уже более двух тысячелетий, появилось на устах у людей, его содержание сильно изменилось. Такова судьба в языке всех по-настоящему живых слов. Если бы наукам приходилось при каждой из своих побед искать себе новое название – сколько было бы крестин в царстве академий, сколько потерянного времени! Оставаясь безмятежно верной славному своему эллинскому имени, история все же не будет теперь вполне той же историей, которую писал Гекатей Милетский, равно как физика лорда Кельвина или Ланжевена – это не физика Аристотеля. Но тогда что же такое история?

Нет никакого смысла помещать в начале этой книги, сосредоточенной на *реальных* проблемах исследования, длинное и сухое определение. Кто из серьезных тружеников обращал внимание на подобные символы веры? Из-за мелочной точности в этих определениях не только упускают все лучшее, что есть в интеллектуальном порыве (я разумею его попытки пробиться к еще не вполне ясному знанию, его возможности расширить свою сферу). Опасней то, что о них так тщательно заботятся лишь для того, чтобы жестче их разграничить. «Этот предмет, – говорит Страж Божеств Терминов, – или этот подход к нему, наверно, очень соблазнительны. Но берегись, о эфеб, это не История». Разве мы – цеховой совет былых времен, чтобы кодифицировать виды работ, дозволенных ремесленникам? и, закрыв перечень, предоставлять право выполнять их только нашим мастерам, имеющим патент?\*

<sup>7</sup> Физики и химики умнее: насколько мне известно, никто еще не видел, чтобы они спорили из-за прав физики, химии, физической химии или – если предположить, что такой термин существует, – химической физики.

И все же верно, что перед лицом необъятной и хаотической действительности историк всегда вынужден наметить участок, пригодный для приложения его орудий; затем он должен в нем сделать выбор, который, очевидно, не будет совпадать с выбором биолога, а будет именно

---

<sup>7</sup> (Отрывок этого примечания на отдельном листке, начало потеряно) [... как показал] Люсьен Февр, сама история, когда у нее ищут ответа насчет пути развития, по которому непрестанно идет человечество, дает им сокрушительное опровержение. Не только каждая наука, взятая отдельно, находит среди перебежчиков из соседних областей мастеров, часто приносящих ей самые блестящие успехи. Пастер, обновивший биологию, не был биологом – и при его жизни ему частенько об этом напоминали; точно так же Дюркгейм и Видаль де ла Блаш, которые оставили в исторической науке начала XX в. несравненно более глубокий след, чем любой специалист, хотя первый был философом, перешедшим в социологию, а второй географом, и оба не числились в ряду дипломированных историков.

выбором историка. Это – подлинная проблема его деятельности. Она будет сопутствовать нам на всем протяжении нашего очерка.

## 2. История и люди

Иногда говорят: «История – это наука о прошлом». На мой взгляд, это неправильно. Ибо, во-первых, сама мысль, что прошлое как таковое способно быть объектом науки, абсурдна. Как можно, без предварительного отсеивания, сделать предметом рационального познания феномены, имеющие между собой лишь то общее, что они не современны нам? Точно так же можно ли представить себе всеобъемлющую науку о вселенной в ее нынешнем состоянии?

У истоков историографии древние анналисты, бесспорно, не терзались подобными сомнениями. Они рассказывали подряд о событиях, единственная связь между которыми состояла в том, что все они происходили в одно время: затмения, град, появление удивительных метеоров вперемешку с битвами, договорами, кончинами героев и царей. Но в этой первоначальной памяти человечества, беспорядочной, как восприятие ребенка, неуклонное стремление к анализу мало-помалу привело к необходимости классификации. Да, верно, язык глубоко консервативен и охотно хранит название «история» для всякого изучения перемен, происходящих во времени... Привычка безопасна – она никого не обманывает. В этом смысле существует история Солнечной системы, ибо небесные тела, ее составляющие, не всегда были такими, какими мы их видим теперь. Эта история относится к астрономии. Существует история вулканических извержений, которая, я уверен, весьма важна для физики земного шара. Она не относится к истории историков. Или, во всяком случае, она к нашей истории относится лишь в той мере, в какой ее наблюдения могут окольным путем оказаться связанными со специфическими интересами истории человечества. Как же осуществляется на практике разделение задач? Конкретный пример, вероятно, поможет нам это понять лучше, чем долгие рассуждения.

В X в. в побережье Фландрии врезался глубокий залив Звин. Затем его занесло песком. К какому разделу знаний отнести изучение этого феномена? Не размышляя, всякий назовет геологию. Механизм наносов, роль морских течений, возможно, изменения уровня океанов – разве не для того и была создана и выпестована геология, чтобы заниматься всем этим? Несомненно. Однако, если приглядеться, дело вовсе не так просто.

Прежде всего, видимо, надо отыскать причины изменения. И наша геология вынуждена задать вопросы, которые, строго говоря, уже не совсем относятся к ее ведомству. Ибо поднятию дна в заливе наверняка способствовали сооружение плотин, каналов, переносы фарватеров. Все это – действия человека, вызванные общественными нуждами и возможные лишь при определенной социальной структуре.

На другом конце цепи – другая проблема: проблема последствий. Неподалеку от котловины залива поднимался город. Это был Брюгге. Город связывал с заливом короткий отрезок реки. Через Звин Брюгге получал и отправлял большую часть товаров, благодаря которым он был – в меньшем, разумеется, масштабе – своего рода Лондоном или Нью-Йорком того времени. Но вот с каждым днем стало все сильнее ощущаться обмеление залива. Напрасно Брюгге, по мере того как отступала вода, выдвигал к устью реки свои аванпорты – его набережные постепенно замирали. Конечно, это отнюдь не единственная причина упадка Брюгге. Разве могут явления природные влиять на социальные, если их воздействие не подготовлено, поддержано или обусловлено другими факторами, которые идут от человека? Но в потоке каузальных волн эта причина входит, по крайней мере, в число наиболее эффективных.

Итак, творчество общества, моделирующееся вновь и вновь соответственно нуждам почвы, на которой оно живет, – это, как чувствует инстинктивно каждый человек, факт преимущественно «исторический». То же можно сказать и о судьбе крупного центра товарообмена; этот вполне характерный пример из «топографии знания» показывает, с одной стороны, точку скрещения, где союз двух дисциплин представляется необходимым для любой попытки

найти объяснение; с другой стороны, это точка перехода, где, завершив описание феномена и занимаясь отныне только оценкой его последствий, одна дисциплина в какой-то мере окончательно уступает место другой. Что же происходит всякий раз, когда, по-видимому, настоятельно требуется вмешательство истории? – Появление человеческого.

В самом деле, великие наши наставники, такие как Мишле или Фюстель де Куланж, уже давно научили нас это понимать: предметом истории является человек\*<sup>8</sup>. Скажем точнее – люди. Науке о разнообразном больше подходит не единственное число, благоприятное для абстракции, а множественное, являющееся грамматическим выражением относительности. За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей\*<sup>9</sup>. Кто этого не усвоил, тот, самое большее, может стать чернорабочим эрудиции. Настоящий же историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиною, там, он знает, его ждет добыча.

Из характера истории как науки о людях вытекает ее особое отношение к способу выражения. История – наука или искусство? Об этом наши прапрадеды времен около 1800 г. любили рассуждать с важностью. Позже, в 1890-х, погруженных в атмосферу несколько примитивного позитивизма, специалисты в области метода возмущались, что публика, читая исторические труды, обращает чрезмерное внимание на то, что они называли формой. Искусство против науки, форма против содержания: сколько тяжб, которым место в архивах судов схоластики!

В точном уравнении не меньше красоты, чем в изящной фразе. Но каждой науке свойственна ее особая эстетика языка. Человеческие факты – по сути своей феномены слишком тонкие, многие из них ускользают от математического измерения. Чтобы хорошо их передать и благодаря этому хорошо понять (ибо можно ли понять до конца то, что не умеешь высказать?), требуется большая чуткость языка, точность оттенков в тоне. Там, где невозможно высчитать, очень важно внушить. Между выражением реальностей мира физического и выражением реальностей человеческого духа – контраст в целом такой же, как между работой фрезеровщика и работой мастера, изготавливающего лютни: оба работают с точностью до миллиметра, но фрезеровщик пользуется механическими измерительными инструментами, а музыкальный мастер руководствуется главным образом чувствительностью своего уха и пальцев. Ничего путного не получилось бы, если бы фрезеровщик прибегал к эмпирическому методу музыкального мастера, а тот пытался бы подражать фрезеровщику. Но кто станет отрицать, что, подобно чуткости пальцев, есть чуткость слова?

---

<sup>8</sup> Фюстель де Куланж. Вводная лекция 1862 г. в Журнале исторического синтеза, т. II, 1901, стр. 243; Мишле. Курс лекций в Нормальной школе, 1829, цитируемый Г. Моно в книге: «Жизнь и идеи Жюль Мишле», т. I, стр. 127: «Мы будем заниматься одновременно изучением человека индивидуального – это будет философия – и изучением человека социального – это будет история». Надо заметить, что Фюстель де Куланж позже высказал эту мысль в форме более сжатой и полной, развитие которой в вышеприведенной фразе является в целом лишь неким комментарием: «История – не скопление всевозможных фактов, совершившихся в прошлом. Она – наука о человеческих обществах». Но, пожалуй, тут чрезмерно сужается роль индивидуума в истории: «человек в обществе» и «общества» – это два понятия, не вполне эквивалентные.

<sup>9</sup> «Не еще одного человека, и никогда просто человека, но человеческие общества, организованные группы» (Люсьен Февр. «Земля и человеческая эволюция», стр. 201).

### 3. Историческое время

«Наука о людях», – сказали мы. Это еще очень расплывчато. Надо добавить: «о людях во времени». Историк не только размышляет о «человеческом». Среда, в которой его мысль естественно движется, – это категория длительности.

Конечно, трудно себе представить науку, абстрагирующуюся от времени. Однако для многих наук, условно дробящих его на искусственно однородные отрезки, оно не что иное, как некая мера. Напротив, конкретная и живая действительность, необратимая в своем стремлении, время истории – это плазма, в которой плавают феномены, это как бы среда, в которой они могут быть поняты. Число секунд, лет или веков, требующееся радиоактивному веществу для превращения в другие элементы, это основополагающая величина для науки об атомах. Но произошла ли какая-то из этих метаморфоз тысячу лет назад, вчера, сегодня или должна произойти завтра, – это обстоятельство, наверно, заинтересовало бы уже геолога, потому что геология – на свой лад дисциплина историческая, для физика же это обстоятельство совершенно безразлично. Зато ни один историк не удовлетворится констатацией факта, что Цезарь потратил на завоевание Галлии 8 лет; что понадобилось 15 лет, чтобы Лютер из эрфуртского новичка-ортодокса вырос в виттенбергского реформатора. Историк гораздо важнее установить для завоевания Галлии его конкретное хронологическое место в судьбах европейских обществ. И, никак не собираясь отрицать того, что духовный кризис, вроде пережитого братом Мартином, связан с проблемой вечности, историк все же решится подробно его описать лишь после того, как с точностью определит этот момент в судьбе самого человека, героя происшествия, и цивилизации, которая была средой для такого кризиса.

Это подлинное время – по природе своей некий континуум. Оно также непрестанное изменение. Из антитезы этих двух атрибутов возникают великие проблемы исторического исследования. Прежде всего проблема, которая ставит под вопрос даже право на существование нашей работы. Возьмем два последовательных периода из чреды веков. В какой мере связь между ними, создаваемая непрерывным течением времени, оказывается более существенной, чем их несходство, которое порождено тем же временем, – иначе, надо ли считать знание более старого периода необходимым или излишним для понимания более нового?

## 4. Идол истоков

Никогда не вредно начать с *mea culpa*<sup>10</sup>. Объяснение более близкого более далеким, естественно, любезное сердцу людей, которые избрали прошлое предметом своих занятий, порой гипнотизирует исследователей. Этот идол племени историков можно было бы назвать «манией происхождения». В развитии исторической мысли для него также был свой, особенно благоприятный, момент.

Если не ошибаюсь, Ренан как-то написал (цитирую по памяти, а потому, боюсь, неточно): «Во всех человеческих делах прежде всего достойны изучения истоки». А до него Сент-Бёв: «Я с интересом прослеживаю и примечаю все начинающееся». Мысль, вполне принадлежащая их времени. Слово «истоки» – также. Ответом на «Истоки христианства» стали немного спустя «Истоки современной Франции». Уж не говоря об эпигонах. Но само это слово смущает, ибо оно двусмысленно.

Означает ли оно только «начала»? Тогда оно, пожалуй, почти ясно. С той оговоркой, однако, что для большинства исторических реальностей само понятие этой начальной точки как-то удивительно неуловимо. Конечно, все дело в определении. В определении, которое, как на грех, слишком часто забывают сформулировать.

Надо ли, напротив, понимать под истоками причины? Тогда у нас будут лишь те трудности, которые непременно (в особенности же в науках о человеке) свойственны каузальным исследованиям.

Но часто возникает контаминация этих двух значений, тем более опасная, что ее в общем-то не очень ясно ощущают. В обиходном словоупотреблении «истоки» – это начало, являющееся объяснением. Хуже того: достаточное для объяснения. Вот где таится двусмысленность, вот где опасность.

Хорошо бы заняться исследованием – и весьма интересным – этого эмбриогенического наваждения. «Я не понимаю вашего смятения, – признавался Баррес утратившему веру священнику. – Что общего между спорами кучки ученых о каком-то древнееврейском слове и моими чувствами? Вполне достаточно атмосферы храмов». И, в свою очередь, Моррас: «Какое мне дело до евангелий четырех темных евреев?» («темных», как я понимаю, должно означать «плебеев», ибо трудно не признать за Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном хотя бы некоторую литературную известность). Эти острословы нас дурачат: ни Паскаль, ни Боссюэ, конечно, так не сказали бы. Можно, разумеется, представить себе религиозный опыт, ничем не обязанный истории. Для чистого деиста достаточно внутреннего озарения, чтобы верить в Бога. Но не в бога христиан. Ибо христианство – я об этом уже напоминал – по сути своей религия историческая, т. е. такая, в которой основные догмы основаны на событиях. Перечитайте «Credo»: «Верую в Иисуса Христа..., распятого при Понтии Пилате... и воскресшего из мертвых на третий день». Здесь начала веры являются и ее основаниями.

Такая направленность мыслей, возможно уместная в определенной форме религиозного исследования, распространилась вследствие неизбежного влияния на другие области знания, где ее оправданность была гораздо более спорной. История, сосредоточенная на происхождении, была и здесь поставлена на службу определению ценностей. Что же еще имел в виду Тэн, исследуя «истоки» Франции своего времени, как не обличение политики, исходившей, по его мнению, из ложной философской концепции человека? Идет ли речь о нашествиях германцев или о завоевании Англии норманнами, к прошлому для объяснения настоящего прибегали так активно лишь с целью убедительней оправдать или осудить настоящее. Так что во многих слу-

---

<sup>10</sup> моя вина, ошибка (*лат.*).

чаях демон истоков был, возможно, лишь воплощением другого сатанинского врага подлинной истории – мании судить.

Вернемся, однако, к изучению христианства. Одно дело, когда ищущее себя религиозное сознание приходит к некоему правилу, определяющему его отношение к католической религии, какой та повседневно предстает в наших церквах. Другое дело, когда история объясняет современное католичество как объект наблюдения. Само собой разумеется, что необходимое для правильного понимания современных религиозных феноменов знание их начал недостаточно для их объяснения. Чтобы упростить проблему, не станем даже спрашивать себя, в какой степени вера, под именем, оставшимся неизменным, действительно осталась в существе своем совершенно неизменной. Предположим даже, что традиция нерушима, – надобно еще найти причины ее сохранности. Причины, конечно, человеческие; гипотеза о providенциальном воздействии не входит в компетенцию науки. Одним словом, вопрос уже не в том, чтобы установить, был ли Иисус распят, а затем воскрес. Нам теперь важно понять, как это получается, что столько людей вокруг нас верят в распятие и воскресение. Приверженность к какому-либо верованию, очевидно, является лишь одним аспектом жизни той группы, в которой эта черта проявляется. Она становится неким узлом, где переплетается множество сходящихся черт, будь то социальная структура или способ мышления. Короче, она влечет за собой проблему человеческой среды в целом. Из желудя рождается дуб. Но он становится и остается дубом лишь тогда, когда попадает в условия благоприятной среды, а те уже от эмбриологии не зависят.

\* \* \*

История религии приведена здесь лишь в качестве примера. К какому бы роду человеческой деятельности ни обращалось исследование, искателей истоков подстерегает все то же заблуждение: смешение преемственной связи с объяснением.

В общем это уже было иллюзией прежних этимологов, которым казалось, что они все объяснили, когда, толкуя современное значение слова, приводили самое древнее из им известных; когда они, например, доказывали, что «бюро» первоначально обозначало некую ткань, а «тембр» – род барабана. Как будто главная проблема не в том, чтобы узнать, как и почему произошел сдвиг значения. Как будто нынешнее слово, так же как его предшественник, не имеет в языке особой функции, определяемой современным состоянием словаря, которое в свою очередь определяется социальными условиями данного момента. В министерских кабинетах «бюро» означает «бюрократию». Когда я спрашиваю в почтовом окошке марку (timbre – «тембр»), для того чтобы я мог так употребить это слово, потребовалось – наряду с постепенно развивавшейся организацией почтовой службы – техническое изменение, решающее для дальнейших путей обмена мыслями и заменившее приложение печати приклеиванием бумажки с рисунком. Такое словоупотребление стало возможным лишь потому, что разные значения древнего слова, специализировавшись, разошлись очень далеко, и нет никакой опасности спутать марку (timbre), которую я собираюсь наклеить на конверт, и, например, тембр инструмента, чистоту которого мне расхваливает продавец музыкальных инструментов.

«Истоки феодального режима», – говорят нам. Где их искать? Одни отвечают – «в Риме», другие – «в Германии». Причины этих миражей понятны. Там и здесь действительно существовали определенные обычаи – отношения клиентелы, военные дружины, держание как плата за службу, – которые последующим поколениям, жившим в Европе в так называемую эпоху феодализма, приходилось поддерживать. Впрочем, с немалыми изменениями. Прежде всего в этих краях употреблялись слова: «бенефиций» (у латинян) и «феод» (у германцев), которыми пользовались последующие поколения, постепенно и безотчетно вкладывая в них совершенно новое содержание. Ибо, к великому отчаянию историков, у людей не заведено всякий раз, как

они меняют обычаи, меняют словарь. Конечно, установленные факты чрезвычайно интересны. Но можно ли полагать, что они исчерпывают проблему причин? Европейский феодализм в своих характерных учреждениях не был архаическим сплетением пережитков. Он возник на определенном этапе развития и был порождением всей социальной среды в целом.

Сеньобос как-то сказал: «Я полагаю, что революционные идеи XVIII в... происходят от английских идей XVII в.». Имел ли он в виду, что французские публицисты эпохи Просвещения, прочитав некие английские сочинения предыдущего века или косвенно подпав под их влияние, усвоили из них свои политические принципы? В этом можно было бы с ним согласиться. Однако при допущении, что в эти иноземные идеи нашими философами со своей стороны не было внесено ничего оригинального – ни в интеллектуальное содержание, ни в эмоциональную окраску. Но даже при таком, достаточно произвольном, сведении к факту заимствования история этого умственного течения будет объяснена еще далеко не полностью. Останется вечная проблема: почему заимствование произошло именно в данное время, не раньше и не позже? Заражение предполагает наличие двух условий: генерации микробов и, в момент заболевания, – благоприятной «почвы». Короче, исторический феномен никогда не может быть объяснен вне его времени. Это верно для всех этапов эволюции. Для того, который мы переживаем, как и для всех прочих. Об этом задолго до нас сказано в арабской пословице: «Люди больше походят на свое время, чем на своих отцов». Забывая об этой восточной мудрости, наука о прошлом нередко себя дискредитировала.

## 5. Границы современного и несовременного

Надо ли думать, однако, что раз прошлое не может полностью объяснить настоящее, то оно вообще бесполезно для его объяснения? Поразительно, что этот вопрос может возникнуть и в наши дни.

Вплоть до ближайшей к нам эпохи на него действительно заранее давался почти единодушный ответ. «Кто будет придерживаться только настоящего, современного, тому не понять современного», – писал в прошлом веке Мишле в начале своей прекрасной книги «Народ», дышавшей, однако, всеми злободневными страстями. К благодеяниям, которых он ждет от истории, уже Лейбниц причислял «истоки современных явлений, найденных в явлениях прошлого», ибо, добавлял он, «действительность может быть лучше всего понята по ее причинам»<sup>\*11</sup>.

Но после Лейбница, после Мишле произошли великие изменения: ряд революций в технике непомерно увеличили психологическую дистанцию между поколениями. Человек века электричества или авиации чувствует себя – возможно, не без некоторых оснований – очень далеким от своих предков. Из этого он легко делает уже, пожалуй, неосторожный вывод, что он ими больше не детерминирован. Добавьте модернистский уклон, свойственный всякому инженерному мышлению. Есть ли необходимость вникать в идеи старика Вольта о гальванизме, чтобы запустить или отремонтировать динамомашину? По аналогии, явно сомнительной, но естественно возникающей в умах, находящихся под влиянием техники, многие даже думают, что для понимания великих человеческих проблем наших дней и для попытки их разрешения изучение проблем прошлого ничего не дает. Также и историки, не всегда это сознавая, погружены в модернистскую атмосферу. Разве не возникает у них чувство, что и в их области граница, отделяющая недавнее от давнего, отодвигается все дальше? Что представляет собой для экономиста наших дней система стабильных денег и золотого эталона, которая вчера еще фигурировала во всех учебниках политической экономии как норма для современности – прошлое, настоящее или историю, уже порядком отдающую плесенью? За этими паралогизмами легко, однако, обнаружить комплекс менее несостоятельных идей, чья хотя бы внешняя простота покорила некоторые умы.

\* \* \*

Полагают, что в обширном потоке времени можно выделить некую фразу. Относительно недалекая от нас в своей исходной точке, она захватывает другим концом нынешние дни. В ней, как нам кажется, в ее наиболее характерных чертах социального или политического состояния, в материальном оснащении, в общем духе цивилизации, нет ничего обнаруживающего глубокие отличия от мира, с которым мы связаны сейчас. Одним словом, она представляется отмеченной по отношению к нам весьма высоким коэффициентом «современности». Отсюда ей приписывается особая честь (или недостаток!) – ее не смешивают со всем остальным прошлым. «С 1830 г. – это уже не история, – говаривал один из наших лицейских учителей, который был очень стар, когда я был очень молод, – это политика». Теперь мы уже не скажем: «с 1830 г.» – Три Славных Дня с тех пор тоже состарились – и не скажем: «это политика». Скорее произнесем почтительно: «это социология», или с меньшим уважением: «это журналистика».

---

<sup>11</sup> Предисловие к «Accessiones Historicae» (1700), t. IV, 2, p. 53: «Tria sunt quae exoptamus in Historia: primum, voluptatem noscendi res singulares; deinde, utilia in primis vitae praecepta; ac denique origines praesentium a praeteritis repetitas, cum omnia optime ex causis noscantur». («Трех выгод мы ждем от истории: прежде всего – наслаждения узнавать необычные вещи, затем – полезных, особенно для жизни, наставлений и, наконец, – рассказа о том, как настоящее произошло из прошлого, когда все превосходно выводится из своих причин».)

Однако многие охотно повторяют: с 1914 г. или с 1940 г. – это уже не история. Причем полного согласия насчет причин такого остракизма нет.

Одни, полагая, что события к нам ближайшие из-за этой близости не поддаются беспристрастному изучению, желают всего лишь уберечь целомудренную Клио от слишком жгучих прикосновений. Так, видимо, думал мой старый учитель. Разумеется, в этом – недоверие к нашей способности владеть своими нервами. А также забвение того, что как только в игру вмешиваются страсти, граница между современным и несовременным вовсе не определяется хронологией. Так ли уж был не прав наш славный директор лангедокского лицея, где я впервые дебютировал на преподавательском поприще, когда своим зычным голосом командира над школярами предупредил меня: «Девятнадцатый век – тема здесь неопасная. Но когда затронете религиозные войны, будьте сугубо осторожны». И правда, у человека, который, сидя за письменным столом, не способен оградить свой мозг от вируса современности, токсины этого вируса, того и гляди, профильтруются даже в комментарии к «Илиаде» или к «Рамаяне».

Другие ученые, напротив, справедливо полагают, что настоящее вполне доступно научному исследованию. Но это исследование они предоставляют дисциплинам, сильно отличающимся от тех, что имеют своим объектом прошлое. Они, например, анализируют и пытаются понять современную экономику с помощью наблюдений, ограниченных во времени несколькими десятилетиями. Короче, они рассматривают эпоху, в которую живут, как отделенную от предыдущих слишком резкими контрастами, что вынуждает их искать ее объяснения в ней самой. Таково же инстинктивное убеждение многих просто любознательных людей. История более или менее отдаленных периодов привлекает их только как безобидное развлечение для ума. С одной стороны, кучка антикваров, по какой-то мрачной склонности занимающихся сдиранием пелен с мертвых богов; с другой, – социологи, экономисты, публицисты – единственные исследователи живого...

## 6. Понять настоящее с помощью прошлого

Если приглядеться, то привилегия самопонимания, которую приписывают настоящему, зиждется на ряде довольно странных постулатов. Прежде всего предполагается, что условия человеческой жизни претерпели за одно-два поколения изменение не только очень быстрое, но и тотальное, так что ни одно мало-мальски старое учреждение, ни один традиционный аспект поведения не избежали влияния революций в науке или технике. При этом, однако, забывают о силе инерции, присущей множеству социальных явлений.

Человек тратит время на усовершенствования, а потом становится их более или менее добровольным пленником. Кого из проезжавших по нашему Северу и наблюдавших тамошний пейзаж не поражали странные контуры полей? Несмотря на изменения, которые в течение ряда веков происходили в первоначальной схеме земельной собственности, вид этих полос, непомерно узких и вытянутых, разрезающих пахотную землю на несметное множество парцелл, и сегодня повергает агронома в смущение. Затраты лишних усилий, обусловленные подобным расположением, неудобства при эксплуатации – факт бесспорный. Как его объяснить? Гражданским кодексом и его неизбежными следствиями, отвечали вечно спешащие публицисты. Измените, добавляли они, наши законы о наследовании, и зло будет полностью уничтожено. Если бы они лучше знали историю, если бы они к тому же лучше вникли в мышление крестьянина, формировавшееся веками практической деятельности, они бы не считали решение таким простым. Действительно, эта чересполосица восходит к временам столь древним, что до сих пор ни один ученый не сумел удовлетворительно ее объяснить; вероятно в ней больше повинны землепашцы эпохи дольменов, чем законодатели Первой империи. Неверное определение причины здесь, как почти всегда, мешает найти лекарство. Незнание прошлого не только вредит познанию настоящего, но ставит под угрозу всякую попытку действовать в настоящем.

Более того. Если бы общество полностью детерминировалось лишь ближайшим предшествующим периодом, оно, даже обладая самой гибкой структурой, при таком резком изменении лишилось бы своего костяка; при этом надо еще допустить, что общение между поколениями происходит, я бы сказал, как в шествии гуськом, т. е. что дети вступают в контакт со своими предками только через посредство родителей.

Но ведь так не бывает, даже если говорить о чисто устных контактах. Взгляните, к примеру, на наши деревни. Условия труда заставляют отца и мать почти весь день находиться вдали от дома, и дети воспитываются в основном дедушками и бабушками. Итак, при каждом новом этапе формирования сознания делается шаг вспять – в обход поколения, являющегося главным носителем изменений, умы наиболее податливые объединяются с наиболее отвердевшими. Отсюда идет, несомненно, традиционализм, присущий столь многим крестьянским обществам. Случай этот совершенно ясен. И он не единственный. Естественный антагонизм между возрастными группами имеет место в основном между группами смежными – молодежь часто бывает обязана урокам стариков, – во всяком случае не меньше, чем урокам людей среднего возраста.

\* \* \*

Еще большее влияние оказывает письменность, способствуя передаче идей поколениям, порой весьма отдаленным, т. е., по сути, поддерживая преемственность цивилизации. Лютер, Кальвин, Лойола – это, несомненно, люди прошлого, люди XVI века, и историк, желающий их понять и сделать понятными для других, прежде всего должен поместить их в среду, окунуть в умственную атмосферу того времени, когда существовали духовные проблемы, уже, собственно, не являющиеся нашими проблемами. Но кто решится сказать, что для правиль-

ного понимания современного мира проникновение в суть протестантской реформы или католической Контрреформации, отделенных от нас несколькими столетиями, менее необходимо, чем изучение многих других умственных или эмоциональных течений, пусть даже более близких во времени, но и более эфемерных?

Ошибка здесь в общем ясна, и, чтобы ее избежать, наверно, достаточно ее сформулировать. Суть в том, что эволюцию человечества представляют как ряд коротких и глубоких рывков, каждый из которых охватывает всего лишь несколько человеческих жизней. Наблюдение, напротив, убеждает, что в этом огромном континууме великие потрясения способны распространяться от самых отдаленных молекул к ближайшим. Что мы скажем о геофизике, который, ограничив свои расчеты километрами, решит, что влияние Луны на наш земной шар гораздо значительней, чем влияние Солнца? Во времени, как и во Вселенной, действие какой-либо силы определяется не только расстоянием.

Наконец, можно ли считать, что среди явлений, отошедших в прошлое, именно те, которые как будто перестали управлять настоящим, – исчезнувшие без следа верования, неудавшиеся социальные формы, отмершая техника – бесполезны для понимания настоящего? Это означало бы забыть, что нет истинного познания без шкалы сравнения. Конечно, при условии, что сопоставление захватывает факты хоть и различные, но вместе с тем родственные. Никто не станет спорить, что здесь именно такой случай.

Разумеется, мы теперь уже не считаем, что, как писал Макиавелли и как полагали Юм или Бональд, во времени «есть по крайней мере нечто одно неизменное – человек». Мы уже знаем, что человек также сильно изменился – и его дух и, несомненно, даже самые тонкие механизмы его тела. Да и могло ли быть иначе? Духовная атмосфера претерпела глубокие изменения, гигиенические условия, питание изменились не меньше. И все же, по-видимому, в человеческой природе и в человеческих обществах существует некий постоянный фонд. Без этого даже имена людей и названия обществ потеряли бы свой смысл. Можем ли мы понять этих людей, изучая их только в их реакциях на частные обстоятельства определенного момента? Даже чтобы понять, чем они являются в этот именно момент, данных опыта будет недостаточно. Множество возможностей, до поры до времени мало проявляющихся, но каждый миг способных пробудиться, множество стимулов, более или менее бессознательных, индивидуальных или коллективных настроений останутся в тени. Данные единичного опыта всегда бессильны для выявления его же компонентов и, следовательно, для его истолкования.

## 7. Понять прошлое с помощью настоящего

Общность эпох настолько существенна, что познавательные связи между ними и впрямь обоюдны. Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего. Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего. Однажды я сопровождал в Стокгольм Анри Пиренна. Едва мы прибыли в город, он сказал: «Что мы посмотрим в первую очередь? Здесь, кажется, выстроено новое здание ратуши. Начнем с него». Затем, как бы предупреждая мое удивление, добавил: «Будь я антикваром, я смотрел бы только старину. Но я историк. Поэтому я люблю жизнь». Способность к восприятию живого – поистине главное качество историка. Пусть не вводит нас в заблуждение некая сухость стиля – этой способностью отличались самые великие среди нас: Фюстель, Мэтланд, каждый на свой лад (эти были более строгими), не менее, чем Мишле. И, быть может, она-то и является тем даром фей, который невозможно приобрести, если не получил его в колыбели. Однако ее надо непрестанно упражнять и развивать. Каким образом? Пример этому дал сам Пиренн – постоянным контактом с современностью. Ибо в ней, в современности, непосредственно доступен нашим чувствам трепет человеческой жизни, для восстановления которого в старых текстах нам требуется большое усилие воображения. Я много раз читал, часто сам рассказывал истории о войне и сражениях. Знал ли я действительно – в полном смысле слова «знать», – знал ли я нутром это жгучее отвращение, прежде чем сам его испытал, прежде чем узнал, что означает для армии окружение, а для народа – поражение? Прежде чем я сам летом и осенью 1918 г. вдохнул радостный воздух победы (надеюсь, что мне придется еще раз вдохнуть его полной грудью, но, увы, запах его вряд ли будет таким же), знал ли я подлинный смысл этого прекрасного слова? По правде сказать, мы сознательно или бессознательно в конечном счете всегда заимствуем из нашего повседневного опыта, придавая ему, где должно, известные новые нюансы, те элементы, которые помогают нам воскресить прошлое. Самые слова, которыми мы пользуемся для характеристики исчезнувших состояний души, отмерших социальных форм, – разве имели бы они для нас какой-то смысл, если бы мы прежде не наблюдали жизнь людей? Это инстинктивное смешение гораздо разумней заменить сознательным и контролируемым наблюдением. Думается, что великий математик будет не менее велик, если пройдет по миру, в котором он живет, с закрытыми глазами. Но эрудит, которому неинтересно смотреть вокруг себя на людей, на вещи и события, вероятно, заслуживает, чтобы его, как сказал Пиренн, называли антикварным орудием. Ему лучше отказаться от звания историка.

\* \* \*

Не всегда, однако, дело лишь в воспитании исторической чуткости. Бывает, что знание настоящего в каком-то плане еще более непосредственно помогает пониманию прошлого.

Действительно, было бы грубой ошибкой полагать, что порядок, принятый историками в их исследованиях, непременно должен соответствовать порядку событий. При условии, что история будет затем восстановлена в реальном своем движении, историкам иногда выгодней начать ее читать, как говорил Мэтланд, «наоборот». Ибо для всякого исследования естественно идти от более известного к более темному. Конечно, далеко не всегда свидетельства документов проясняются по мере того, как мы приближаемся к нашему времени. Мы несравненно хуже осведомлены, например, о X в. нашей эры, чем об эпохе Цезаря или Августа. Однако в большинстве случаев наиболее близкие к нам периоды совпадают с зонами относительной ясности. Добавьте, что, механически двигаясь от дальнего к ближнему, мы всегда рискуем потерять время на изучение начал или причин таких явлений, которые, возможно, окажутся на проверку воображаемыми. Даже славнейшие из нас совершали порой странные ошибки, отвер-

гая в своей практике регрессивный метод тогда и там, где он был нужен. Фюстель де Куланж сосредоточился на «истоках» феодальных учреждений, о которых он, боюсь, имел довольно смутное представление, и на зачатках серважа, который он, зная лишь из вторых рук, видел в совершенно ложном свете.

Вовсе не так уж редко, как обычно думают, случается, что для достижения полной ясности надо в исследовании доходить вплоть до нынешних дней. В некоторых своих основных чертах наш сельский пейзаж, как мы уже видели, восходит к эпохам чрезвычайно далеким. Но чтобы истолковать скудные документы, позволяющие нам проникнуть в этот туманный генезис, чтобы правильно поставить проблемы, чтобы их хотя бы представить себе, надо выполнить одно важнейшее условие: наблюдать, анализировать пейзаж современный. Он сам по себе дает перспективу целого, из которой необходимо исходить. Не для того, конечно, чтобы рассматривать этот облик как раз навсегда застывший и навязывать его каждому этапу прошлого, встречающемуся при движении к верховьям потока времени. Здесь, как и повсюду, историк хочет уловить изменение. Но в фильме, который он смотрит, целым остался только последний кадр. Чтобы восстановить стершиеся черты остальных кадров, следует сперва раскручивать пленку в направлении, обратном тому, в котором шла съемка.

Стало быть, есть только одна наука о людях во времени, наука, в которой надо непрерывно связывать изучение мертвых с изучением живых. Как ее назвать? Я уже говорил, почему древнее слово «история» мне кажется наиболее емким, наименее ограничивающим; оно также более всего насыщено волнующими воспоминаниями о многовековом труде. Следовательно, оно наилучшее. Если мы, вопреки известным предрассудкам – впрочем, куда менее старым, чем оно, – расширяем его до познания настоящего, то при этом – надо ли тут оправдываться? – мы не преследуем никаких узкокорпоративных интересов. Жизнь слишком коротка, знания приобретаются слишком долго, чтобы даже самый поразительный гений мог надеяться освоить тотальный опыт человечества. Современная история всегда будет иметь своих специалистов, так же как каменный век или египтология. Мы только просим помнить, что в исторических исследованиях нет места автаркии. Изолировавшись, каждый из специалистов сможет что-либо постичь лишь наполовину даже в собственной области; единственно подлинная история, возможная лишь при взаимопомощи, – это всемирная история.

Всякая наука, однако, определяется не только своим предметом. Ее границы в такой же мере могут быть установлены характером присущих ей методов. Остается задать вопрос, не следует ли придерживаться в корне различной техники исследования в зависимости от того, приближаемся мы или удаляемся от настоящего момента. Это и есть проблема исторического наблюдения.

## Глава вторая

### Историческое наблюдение

#### 1. Главные черты исторического наблюдения

Что имеют в виду под изучением прошлого?

Наиболее очевидные особенности изучения истории, понимаемой в этом ограниченном и обиходном смысле, описывались неоднократно. Историк как таковой, говорят нам, начисто лишен возможности лично установить факты, которые он изучает. Ни один египтолог не видел Рамсеса. Ни один специалист по Наполеоновским войнам не слышал пушек Аустерлица. Итак, о предшествовавших эпохах мы можем говорить лишь на основе показаний свидетелей. Мы играем роль следователя, пытающегося восстановить картину преступления, при котором сам он не присутствовал, или физика, вынужденного из-за гриппа сидеть дома и узнающего о результатах своего опыта по сообщениям лабораторного служителя. Одним словом, в отличие от познания настоящего, познание прошлого всегда будет «непрямым».

Что в этих замечаниях есть доля правды, никто не станет отрицать. Однако они еще нуждаются в существенных уточнениях.

Представим себе полководца, одержавшего победу и тут же начавшего собственноручно писать о ней отчет. Он составил план сражения. Он этим сражением управлял. Благодаря незначительной территории (чтобы в нашей игре были пущены в ход все козыри, мы воображаем стычку старых времен, происходящую на небольшом пространстве) он мог наблюдать всю схватку – она развертывалась на его глазах. И все же не будем обольщаться: многие существенные эпизоды ему придется описывать по донесениям своих помощников. Но и тогда он, став рассказчиком, будет, вероятно, вести себя так же, как за несколько часов до того, во время боя. Когда ему приходилось ежеминутно направлять движение своих отрядов, сообразуясь с изменчивым ходом баталии, какая информация, по-вашему, была для него полезней: картины боя, более или менее смутно видимые в подзорную трубу, или же рапорты, которые доставляли ему, скача во весь опор, нарочные и адъютанты? Изредка полководец и впрямь может самолично быть полноценным свидетелем своих действий. Но даже в нашей столь благоприятной гипотетической ситуации остается ли хоть что-нибудь от этого пресловутого прямого наблюдения, мнимой привилегии изучения настоящего?

Дело в том, что непосредственное наблюдение – почти всегда иллюзия и как только кругозор наблюдателя чуть-чуть расширится, он это понимает. Все увиденное состоит на добрую половину из увиденного другими. Если я экономист, я изучаю движение товарооборота в данный месяц, в данную неделю; делаю я это на основе статистических сводок, которые составлял не я. Если я исследую животрепещущее настоящее, я принимаюсь зондировать общественное мнение по главным проблемам дня: я ставлю вопросы, записываю, сопоставляю и классифицирую ответы. Что же составят они, как не более или менее неуклюже исполненную картину того, что мои собеседники, как им кажется, самостоятельно думают, или же ту картину мыслей, какую они хотят мне представить. Они суть объекты моего опыта. Но если физиолог, анатомирующий морскую свинку, видит собственными глазами язву или аномалию, которую ищет, то я знакомлюсь с состоянием духа моих «людей с улицы» лишь по картине, которую им самим угодно мне представить. Ибо в хаотическом сплетении событий, поступков и слов, из которых складывается судьба некоей группы людей, индивидуум может обозреть лишь маленький уголок, он жестко ограничен своими пятью чувствами и собственным вниманием. Кроме того, он знает непосредственно лишь собственное состояние ума; всякое изучение человечества, каков

бы ни был избранный для этого момент, всегда будет черпать большую часть своего содержания в свидетельствах других людей. Исследователю настоящего досталась в этом смысле не намного лучшая доля, чем историку прошлого.

Но надо ли считать, что наблюдение прошлого, даже весьма отдаленного, всегда до такой степени является «непрямым»?

Легко понять, почему впечатление об этой отдаленности объекта познания от исследователя царило в умах многих теоретиков истории. Дело в том, что они прежде всего имели в виду историю событий, эпизодов, т. е. такую историю, в которой (верно это или неверно, пока еще не время говорить) придается крайняя важность точному воспроизведению действий, речей или позиций нескольких личностей, участвующих в сцене, где, как в классической трагедии, сосредоточены все движущие силы кризисного момента: день революции, сражение, дипломатическая встреча. Рассказывают, что 2 сентября 1792 г. голову принцессы Ламбаль пронесли на острие пики под окнами Тампля, где находилась королевская семья. Что это – правда или вымысел? Пьер Карон, написавший удивительно добросовестную книгу о сентябрьской резне, не решается высказать свое мнение. Если бы ему выпало самому наблюдать с одной из башен Тампля этот жуткий кортеж, он, наверное, знал бы, как было дело. При том условии, что он, сохранив в этих обстоятельствах – что вполне правдоподобно – хладнокровие историка и справедливо не доверяя своей памяти, позаботился бы вдобавок тут же записать свои наблюдения. В подобном случае историк, несомненно, чувствует себя по отношению к честному очевидцу события в несколько униженном положении. Он как бы находится в хвосте колонны, где приказы передаются от головы по рядам. Место не слишком удачное для получения правильной информации. Мне пришлось наблюдать во время ночного перехода такой случай. По рядам было передано: «Внимание, воронка от снаряда налево!» – Последний в колонне услышал уже: «Шагом марш налево!» – сделал шаг в сторону и провалился.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.